

ББК 81.031
П 25

*Исследование подготовлено при поддержке
Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН
«История, языки и литературы славянских народов
в мировом социокультурном контексте»
и Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 04-06-80443)*

Р  и

*Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 04-04-16072)*

Пеньковский А. Б.

П 25 Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики / Под ред. И. А. Пильшикова и М. И. Шапира. — М.: Языки слав. культур, 2005. — 315 с. — (Philologica russica et speculativa; Т. IV).

ISBN 5-9551-0100-4

Очерки, собранные в книге, посвящены «темным местам» «Евгения Онегина», «Полтавы», «Путешествия в Арзрум» и «Гробовщика». Последовательный филологический подход к слову Пушкина и его современников обнаруживает ускользающие от нас значения и смыслы, за которыми скрываются неизвестные стороны тогдашней русской жизни. В задачи автора входит непротиворечивое понимание ряда словесных мотивов и сюжетных деталей, взятых не изолированно, а в контексте художественного целого. Анализ подкрепляется обширными языковыми данными XVIII—XX вв., отражающими глубокие, но малозаметные сдвиги в языковой системе.

Книга может быть интересна пушкинистам, историкам русской литературы и русского языка, а также всем, кто хочет глубже понять Пушкина и культуру той эпохи.

ББК 81.031

ISBN 5-9551-0100-4



© А. Б. Пеньковский, 2005
© Языки славянских культур, 2005
© Philologica, 2005

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
<i>...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец</i> («Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14)	14
<i>...Ни карт, ни балов, ни стихов</i> («Евгений Онегин», 1, LIV, 11)	61
<i>Но наконец она вздохнула...</i> («Евгений Онегин», 3, XLI, 1)	76
О чердаках, вранях и метаязыке литературного дела («Евгений Онегин», 4, XIX, 4—5)	115
Бесконечный котильон («Евгений Онегин», 5, XLIII, 14 — 6, I, 7)	153
<i>...Как солью, хлебом и елеем, // Делились чувствами они</i> («Полтава», I, 264—265)	168
<i>...Видел... врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения</i> («Путешествие в Арзрум»)	187
О Петре Петровиче Курилкине, о покойниках и мертвецах, о гробах напрокат, о желтом цвете и многом другом («Гробовщик»)	225
Библиография	253
Указатель слов, форм и выражений	274
Указатель имен	307

ОТ АВТОРА

Искажение поэтического произведения в восприятии читателя — совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности.

О. Мандельштам

Определяйте значение слов, говорил Декарт — и вы избавите свет от половины его заблуждений.

А. Пушкин

Недавний пушкинский юбилей поставил перед филологической наукой и перед всей русской культурой множество вопросов. Но первым среди них, самым важным и жизненно необходимым должен быть признан, по моему глубокому убеждению, вопрос о том, «как читать Пушкина». Ибо опыт толкований, объяснений и интерпретаций творчества Пушкина накоплен богатейший, но — увы! — в его основе лежит, как правило, не чтение, а прочтение. «Чтобы понять писателя, надо его прежде всего правильно прочесть», — утверждал В. Ф. Ходасевич в программной статье «О пушкинизме» (Ходасевич 1998: 128, 130). Дело, однако, в том, что «правильно прочесть» можно только научившись «правильно читать», то есть так, как читал себя сам Пушкин. А для этого необходимо овладеть пушкинским языком, как и язы-

От автора

ком всей пушкинской эпохи в целом, честно и трезво отдавая себе отчет в том, что мы этого языка не знаем, так же, как не знаем стоящей за ним жизни.

Это отнюдь не вариации на тему известного тезиса о том, что «всякое понимание есть вмѣстѣ непонимание» (Потебня 1862: 114), или, в недавней формулировке М. А. Гаспарова, что «между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания», что «всякое слово — чужое, всякий язык — чужой», а потому «можем ли мы (...) считать, что мы понимаем Пушкина лучше, чем собаку Каштанку?» (ФФ: 80). Речь идет не о проникновении в «чужую душу», каковая, по русской пословице, была, есть и всегда будет «потемки», а о проникновении в художественный мир, созданный именно для того, чтобы мы в него проникли. Осуществить это можно, лишь говоря с художником на одном языке. Именно это, надо полагать, имел в виду Пушкин, когда вслед за Декартом призывал определять значение слов и тем избавить свет от половины его заблуждений (11: 434)¹. Именно эта мысль обусловила загадочный на первый взгляд выбор изречения Э. Берка в качестве эпиграфа к беловой рукописи первой главы «Евгения Онегина»: «Nothing is such an enemy to accuracy of judgment as a coarse discrimination» = «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение» (6: 543, 663). Если отсутствие определенности и единства в понимании словесных значений и недостаточное их различение столь остро воспринимались Пушкиным и переживались им как препятствие в его общении с современниками, то насколько же упрочилась эта преграда в общении Пушкина с нами, отделенными от него дистанцией почти в 200 лет!

Поэтому нужно прежде всего признать, что общепринятое определение хронологических границ современного русского литературного языка по формуле «от Пушкина до наших дней» — определение, в основе которого лежит тот бесспорный факт, что Пушкин является первым свободно читаемым русским автором, — на самом деле глубоко ошибочно. В действительности тот язык, на котором думал, говорил, писал и творил Пушкин, — это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глубоко от него отличный. Это «глубоко» — не просто эмоциональное обозначение степени. Речь здесь идет, конечно, не о бросающихся каждому в глаза особенностях фонемно-звукового состава отдельных языковых единиц, не о достаточно многи-

От автора

сленных и ярких лексических, слово- и формообразовательных архаизмах, не о множестве давно вышедших из употребления Fremd- и Lehnwörter (преимущественно галлицизмов, которые обычно и разъясняются в комментариях к современным изданиям), не о легко воспринимаемых особенностях некоторых синтаксических конструкций и т. п., но именно о г л у б и н н ы х, недоступных поверхностному взгляду с у щ н о с т н ы х отличиях, которые лежат в сфере словарных, коннотативных, оценочных и иных значений, скрытых, замаскированных наружной близостью, кажущимся, обманчивым тождеством.

Язык пушкинской эпохи унаследовал от прошлого систему в значительной степени, хотя и не до конца отработанных жестких макрограмматических норм и норм жанрово-стилистической дифференциации словарного материала. Однако во всех остальных отношениях давал говорящим / пишущим широчайшую свободу языкового выражения, оставляя в пренебрежении интересы слушающих / читающих, которые на каждом шагу попадали в ситуацию смысловой неопределенности. Вызывалось это двумя взаимосвязанными особенностями устройства семантики слова:

1) лабильной текучестью его значения (образом которого является не точка, как в современном языке, а более или менее широкое поле с нечетким центром и размыто-туманной периферией) и, как следствие,

2) его относительно большей (нередко полной) зависимостью от микро- и макроконтестов, интерпретационные возможности и силы которых нередко оказывались недостаточными и выхода к полному пониманию сказанного / написанного не давали.

Оказывается, что в языке пушкинской эпохи носителем значения является не «словарное» грамматикализованное и аксиологизированное слово, а неграмматикализованное и неаксиологизированное слово в грамматикализующем и аксиологизирующем контексте. Это слово, не до конца освоившее мир и освоенное миром, еще не подвергшееся микрокатегоризации, которую оно должно пройти на следующем этапе исторического развития, чтобы стать словом современного русского языка. Отсюда, как следствие, принципиальная «безоценочность» и свобода валентностных характеристик такого многозначного и многосмысленного слова и специфика работы всего механизма тропообразования, которое осуществляется не переносами и переходами, а переливами и перетеканиями значений. Сплошь и рядом то, что мы в текстах пушкинской эпохи воспринимаем как метафоры и метонимии, на самом деле представляет собой лишь движения смысла

От автора

в изначально широком целостном семантическом поле. Не случайно сохранение в этом слове (ср., например, сочетание *убийственный кинжал*) утраченных впоследствии прямых, первичных значений. Это значит, что степень образности художественных текстов пушкинской эпохи в нашем сегодняшнем восприятии выше, чем она была в пору их создания для их авторов и читателей-современников. Свобода слова пушкинской эпохи от микрокатегоризации и оценочных значений дополняется неограниченной словообразовательной вариативностью и не виртуальной, а широко реализуемой свободой заполнения пустых клеток и полной симметрией в отношениях между членами парадигм каждого грамматического класса, чем объясняется отсутствие столь типичных для современного состояния языка неполных и ущербных слово- и формообразовательных парадигм. Ср. в языке первой половины XIX в. коррелятивные пары типа *можно* — *не можно*, *льзя* — *нельзя* при современном *можно* — *нельзя*. Или вполне употребительные в то время *класть* — *ложить*, *скласть* — *сложить*, *покласть* — *положить* и т. п. при современных *класть* — **ложить*, **скласть* — *сложить*, **покласть* — *положить*. Ср. также: *того и гляди, что...*; *я того и гляжу, что...*; *мы того и глядим, что...*; *мы того и глядели, что...* — с современным: *того и гляди, что...* (все остальные клетки парадигмы пусты). Отсюда же поразительная легкость, с которой производящие передают свои синтаксические связи производным, а производные наследуют их. Ср., например: *вкрадываться во что* → *вкрадчивый во что*, *вкрадчивость во что*; *вдуматься во что* → *вдумчивый во что*, *вдумчивость во что*; *знакомый с кем* → *знакомец с кем*; *прийти в свет* → *пришелец в свет* и т. п. Факты такого рода говорят о менее нормализованном состоянии языка пушкинской эпохи по сравнению с нынешним и вполне подтверждают справедливость слов П. А. Вяземского: «Нашъ языкъ на то только и хорошъ, чтобы коверкать его, жать во всю ивановскую: соки еще всѣ въ немъ» (ОА, II: 329).

Современный читатель Пушкина и других авторов этого времени пропускает их тексты через свое языковое сознание и интерпретирует их, исходя из своего современного языкового и жизненного опыта (а никак иначе воспринимать и интерпретировать их он не может), и закрывает книгу в полной уверенности, что он всё воспринял и понял. В пушкинском слове (в слове Боратынского, Лермонтова etc.) он радостно узнает наше, свое, сегодняшнее, родное — простое и понятное — слово, не отда-

От автора

вая себе отчета в том, что во множестве случаев эта понятность — иллюзия, самообман.

Еще опаснее то, что очень и очень многое понимается неправильно: неточно, неполно или даже превратно. И это совсем не тот феномен, который, говоря о жизни литературных текстов во времени, называют «приращением смыслов». Это искажение смыслов, порой доходящее до полного извращения. Ср. в письме А. Я. Булгакова К. Я. Булгакову (25 сентября 1829 г.): «Я такъ и загадывалъ, что будутъ два фельдмаршала; но и зъ голубыхъ угадалъ только графа нашего и другого нашего графа, милаго Воронцова (...)» (Булгаков 1901, № 11: 358; где *голубой* — это не 'носитель голубого жандармского мундира' и уж, конечно, не 'гомосексуалист', а 'награжденный голубой андреевской лентой'). Здесь имеет место явление, близкое тому, что принято называть «ложными друзьями переводчика» (ср. Седакова 1998), но только действующее в сознании читателей, уверенных, что они читают текст на своем языке, тогда как на самом деле они переводят его с другого (пусть близкого, но другого!) — если не языка, то состояния языка, и переводят, как выясняется, с более или менее серьезными ошибками. При этом одно значение подменяется другим (*отлично* 'весьма, очень, в высшей степени' > 'очень хорошо'; *неимоверный* 'не вызывающий доверия' > 'огромный'; *ненавидеть* 'пренебрегать, презирать' > 'испытывать ненависть'; *совесть* 'душа' > 'чувство и/или сознание моральной ответственности'; *упражнение* 'занятие' > 'работа, направленная на развитие и совершенствование каких-л. навыков и способностей'). То и дело широкое значение заслоняется узким (*возмездие* 'воздаяние по заслугам, как за добро, так и за зло' > 'наказание, кара'); прямое употребление принимается за иронически окрашенное (*важный* 'серьезный' > 'чопорный, надменный, надутый'); слова положительно-оценочные (*бесцеремонный* 'нецеремонный, простой, естественный', *развязный* 'чувствующий и ведущий себя свободно, раскованный') или нейтральные (*поделом* 'заслуженно'; *самовольно* 'по собственной воле', *усугубить* 'усилить') принимаются за несущие отрицательную оценку — и т. д.

«Ложные друзья» подстерегают не только рядового читателя. Не меньше они угрожают критику и публицисту, исследователю, интерпретатору и комментатору литературного произведения или исторического документа, и в этом случае ошибочное понимание освящается авторитетом ученого и через школу, университетскую и академическую науку становится общим

От автора

достоянием и входит в традицию, которая надолго закрывает путь к адекватному восприятию текста. Не спасают ситуацию и толковые словари (в том числе специализированный «Словарь языка Пушкина»), составители которых, как и рядовые читатели, во многих случаях не могут выйти из границ собственного языкового опыта.

«Ложные друзья переводчика» действуют на очень широком текстовом поле. Но даже если бы эффект их действия был связан лишь с отдельными, сравнительно немногочисленными единицами текста, и то нельзя было бы недооценивать его опасности, поскольку от того или иного понимания одного слова может зависеть истолкование целых фрагментов или аспектов художественного текста, а то и всего произведения. Тем более если мы имеем дело с ключевыми единицами текста, входящими в его опорные, несущие конструкции, и особенно в тех случаях, когда смысловая энергия «ложных друзей» наперед учитывается и сознательно обыгрывается автором, задающим читателю загадки разной степени сложности.

Таково, к примеру, выражение *длинной сказки вздор живой*, которое возникает в потоке воспоминаний тоскующего Онегина (глава 8-я, строфа XXXVI). «Сказку» обычно понимают в «фольклорном» смысле, как «повествовательное народно-поэтическое произведение о вымышленных событиях» (СП, IV: 133—134). На этом понимании базируется тезис о том, будто Онегин в конце романа обратился к «образам забытой некогда человечности, чистоты, и более всего, народности, фольклора» (Гуковский 1957: 261; разрядка источника. — А. П.). Г. А. Гуковскому вторит Ю. М. Лотман, который пишет о «погружении Онегина в мир народной поэзии, простоты и наивности, составлявших обаяние Татьяны в начале романа» (Лотман 1980: 366), — отсюда следует вывод о духовном перерождении пушкинского героя, чем подкрепляется общее положение о его изначальной порочности. Эта общепринятая концепция, однако, полностью рушится, если исходить из другого, не фиксируемого словарями, переносного значения слова *сказка* в поэтической речи пушкинской эпохи, представленного, например у Вяземского («Родительский дом», 1830), у К. Павловой («Кадриль», 1844) и многих других: «восстанавливаемый в памяти ряд жизненных событий и эпизодов».

Правильное понимание слова *сказка* в этом контексте позволяет непротиворечиво реинтерпретировать, освободив от натянутых, искусственных толкований, и некоторые другие речения XXXVI строфы. В их чи-